

Керен КЛИМОВСКИ

Молоко (монодрама)

На первый взгляд – это очень простая история. Мы – две израильтянки, которых увезли из России совсем маленькими. Мы вместе учились в американской школе в Питере, где временно работали наши родители и подружались (хотя ты и старше на три года). Потом ты вернулась в Израиль, пошла в армию, влюбилась в мальчика... а его взорвали в автобусе, в котором могла быть и ты, Рахель. И я, от отчаяния, придумала одну безумную, нелепую игру – чтобы развеселить тебя, или хотя бы позабавить, да сама не знаю почему...

Эта история совсем не про молоко, но молоко в ней главное действующее лицо: обычное коровье молоко в картонном бело-синем пакете компании «Тнува». Мне шестнадцать лет, у меня летние каникулы, на улице июльская израильская жара, я лениво встаю к полудню, но всегда соблюдаю ритуал: по утрам мы с папой пьем кофе с молоком. Говоришь молллоко, думаешь молллоко, от ледяного ллл на языке становится прохладней, как будто лизнул сосульку, и в комнату врывается зимний ветер, назло сорокаградусной жаре за окном – это там душно и влажно, и прохожие открывают рты, как рыбы на суше, набухают собственным потом, и нельзя есть соленое, потому что от него хочется пить, а пить и так хочется – дальше некуда, а тут – у папы – гудит кондиционер, и полки с книгами скоро покроются коркой льда, а в руке – молоко, прохладное молллоко.

И в одно такое утро как раз собираешься поехать на море – после утреннего кофе, без завтрака, бросить в рюкзак полотенце и бутылку с водой, накинуть на купальник платье и поехать на море. Когда тебе шестнадцать, море – это отдельная история: оно ласкает тебя, каждый раз заново подтверждая ту жизнь, которая пульсирует в тебе так отчаянно, что иногда трогаешь запястье губами и считаешь: сколько раз в минуту, сколько раз в десять секунд, неужели вот это оно и есть, оно самое – моя жизнь? Знакомое с детства ощущение: в этих синих венах за бледной, почти прозрачной моей кожей, на которую так трудно ложится загар, таится смерть, отсюда это: вскрыть вены, значит, в венах смерть, но тут же рядом и жизнь – неутомимый пульс, часы жизни, которые заведены и хорошо идут, но никто не знает, когда остановятся, значит, жизнь и смерть живут совсем рядом в нашем теле. Вернувшись домой с моря, всегда трогаю свои руки и ноги, гладкие, отшлифованные морем, как ракушки и морские камни, лижу щиколотку – еще соленую, почему-то именно щиколотку, не запястье, может, именно потому, что до нее сложнее дотянуться губами, а значит лишний раз убеждаюсь в гибкости своего тела, в наполненности жизнью, такой очевидной и неиссякаемой, что ее должно хватить надолго, навсегда. И вот я пью кофе, и слушаю радио, точнее радио слушает папа, а я просто пью кофе – кофе с молллоком... «Автобус пятьсот шестнадцать, взрыв» – что за слова, откуда, не лезьте, я мечтаю о море, оставьте меня, «террорист, автобус пятьсот шестнадцать, по дороге на север погибшие и раненые» – да что же это такое, откуда, а, это радио, но кажется, что с другой планеты, какие-то странные слова, отбиваюсь от них, а они все

равно лезут, и почему-то сжимается сердце: не может быть, нет, номер, наверное, неправильный, а они упрямо твердят – «пятьсот шестнадцать», и я трогаю босыми пальцами каменный пол, чтобы вернуть себе чувство реальности, ведь 516 – это автобус, в котором ты возвращаешься на базу рядом с Цфатом, Рахель, – каждую неделю, после выходных, а сегодня как раз воскресенье, и взрыв был в восемь утра... Надо что-то повторить, например, слово «автобус», пока оно не потеряет всякий смысл, и звонить тебе, но ты не берешь трубку, не берешь, не берешь, бусавто, бусавто, бусавто, папа, заткни радио, выключи, ведь это можно сойти с ума, Рахель, ответь, я уже звонила восемь раз, оставила пять голосовых сообщений, бусавтобусавтобусавто, с этой несправедливостью я не смогу согласиться, ее просто не может быть, этого не может быть...

И вот тут очень важно рассказать про медуз, хотя они ко всему остальному отношения не имеют, тем более что медузы – это за неделю до взрыва, медузы – это привычное, но все, что произошло в июле 2002 года, связано с этой историей – это просто так, и все... Пляж почти пустой: лысые дядечки с большими животами не едят арбуз с брынзой под шезлонгом, не загорают в желтых и розовых купальниках смуглые марокканские красотки, не играют в песке голопопые карапузы, и как будто смыло волной заядлых игроков в «маткот» – не слышен стук пластмассового мяча о деревянные ракетки, и в отсутствие этого неутомимого метронома пляж заполняет невесомая, выпуклая пустота, в которой умирают все звуки. В воде всего пять человек, но никто из них не плавает – они странно стоят, чуть покачиваясь, похожие на поплавки. Захожу все глубже, взвизгивая каждый раз, когда рядом мелькает бело-прозрачное желе. Озираюсь по сторонам, как будто высматриваю тайного врага, подпрыгиваю и дергаюсь от каждой волны, от каждого всплеска, принимаю за медузу грязный целлофановый пакет, колыхание песка в воде и собственную ногу. Вода чуть выше пояса, а я уже дошла до ручки: я уже живу в фильме ужасов Хичкока под названием «Медузы», и живой поплавок справа от меня – молодой парень – смеется. Я говорю:

– Может, ты с медузами дружишь, они тебя не смущают, ну и целуйся с ними!

А он продолжает смеяться. Не знаю, что ему от меня надо: заигрывает или просто хочет поболтать – в Израиле не всегда разберешь, и одно может очень быстро перейти в другое, но в любом случае все очень легко и ни к чему не обязывает, и я постоянно завожу знакомства с самыми разными людьми, это очень веселое и интересное занятие, особенно здесь, где почти все сумасшедшие, особенно в июле, когда сумасшедшие все абсолютно. Он смеется – обычный израильский парень – черноглазый и загорелый, и немного нахальный, но при этом спокойный – значит, после армии, – такой оттенок непоколебимой уверенности в себе, но без заносчивости, появляется именно после армии. Говорит:

– Они меня и правда не смущают, но так забавно наблюдать за людьми и их реакциями... Я даже прозвища даю.

– В смысле?

– Ты всех превзошла.

– Да ну?

– Исследовательница. В панике смотришь по сторонам и выискиваешь: откуда может прийти опасность...

– Может, от тебя?

– От меня?!

– Может, ты сам медуза?

Иврит – мой самый легкий язык, в том смысле, что легкий сам по себе – домашний, смешной, импульсивный, быстрый, и как будто понарошку, не всерьез, поэтому на иврите я говорю очень быстро и сказать могу все что угодно, не задумываясь. Намечается закат, я в своем любимом море, я знаю, что под водой скрыты мои соленые щиколотки, что во мне жизнь, и кругом жизнь, и болтаю без умолку:

– Конечно, ты – медуза, поэтому они тебя и не жалят, чувствуют, что ты один из них. Ты – волшебная медуза, которая может превращаться в человека, напускать на себя безразличие и заманивать невинных людей в море – ты медузный жрец, и приносишь нас всех в жертву медузному богу...

– Ааааааа! Иди отсюда, – кричу, отмахиваясь от щупальца. – Аааа! Убери ее, у меня скоро будет душевная травма!

– Это у меня будет душевная травма, от твоих воплей. – Он берет медузу за шляпку, поднимает и держит у лица: – Ах ты моя медузочка, красавица моя, лапочка! – и вдруг неосторожным движением натывается на щупальца: – Твою мать, сука!

– Что, – говорю, – любовь прошла, завяли помидоры? Где ж нежные чувства, где солидарность, где уважение к личности, наконец? Цапнула – так сразу «сука»? Какой ты непостоянный...

И вдруг резко вылезаю из воды, и надеваю шляпу с широкими полями, и ухожу с пляжа – искушенная медузами вдоль и поперек и непонятно, странно счастливая.

И такая же странно счастливая была, когда три дня смазывала себя противоаллергенной мазью: от плеч до ступней – на теле не было ни одного живого места, я не могла ни сесть ни лечь, все чесалось, зудело, пылало, даже температура поднялась, казалось, что я вся – один сплошной ожог... А потом – спустя неделю – услышала по радио сообщение о взрыве и поняла, насколько коварны медузы: жар и пылающая кожа притупили мое тревожное внимание, успокоили, убаюкали, а оказалось, что вот он – настоящий ожог, когда в глазах не темно, а светло, слишком светло и ярко, так что больно смотреть на этот белый свет – белый от солнца и от молока, которое льется мимо чашки с кофе на холодный, пятнистый пол. Какая же я дура, ведь надо было знать, надо было предчувствовать, что расплата будет, что цена есть у всего, а у того, что происходит со мной этим летом, – цена двойная. Когда наслаждаешься каждым движением, когда откровенно и нагло любишь свое тело, и лижешь соленую кожу на щиколотках, и любишь все проявления этого мира, а особенно всё вещественное и зримое, всё, что на ощупь, по-щенячьи, без мысли, а по наитию, когда пальцы думают и познают за тебя, тогда – тогда надо очень четко понимать, что такое бездумное существование не может остаться безнаказанным, такое нахальное счастье не прощают...

Выбегаю на улицу, точнее здание выдыхает меня на улицу, как застрявший в горле ком, а тут такая тяжесть воздуха, такое сопротивление, что бежать невозможно, только протискиваться сквозь воздух. Это даже не ветер, это небо такое низкое, что

хлещет тебя по лицу, и дышать больно. А ты хочешь, чтобы тебе было больно, и твой взгляд напрягается, как упругая леска в руках рыболова, силясь разглядеть что-либо в густом, колючем воздухе, поймать на крючок любой предмет, зацепив его из песочного пространства, в котором все сливается, и соскальзывает на раскаленный до блеска асфальт. В этом скукоженном, почти нереальном мире-за-окном, мире за пределами молллока, кондиционера, мерного тиканья часов и всех этих утешительных вещей, мире, где люди ведут охоту за тенью, оскаливаясь друг на друга, в этом мире время плавится, распадается, минутам тесно, они выскальзывают из оболочки суток, оставляя в горсти лишь несколько секунд, как ящерица хвост, и так ощущается время – короткими отрезками, когда больно дышать, так больно, что на секунду, на пять, на десять забываешь про автобус номер 516.

В четыре ты наконец-то берешь трубку. Это точно ты, хотя он – другой, твой голос, – в нем что-то новое, непонятное, в этом усталом «алло», но голос твой. А я не знаю – разрыдаться или рассмеяться, или сказать «я чуть с ума не сошла», я просто молчу, мои пальцы облегченно обмякают, трубка почти выскальзывает. Выдавливаю: «Ты в порядке?» и слышу «Нет». Вытираю потные пальцы о майку. А ты говоришь: «Йони погиб. Сразу. Его разорвало на куски. Еще два солдата из наших ранены, а Йони погиб». Ты говоришь: «Я должна была быть в том автобусе, просто опоздала». И еще ты говоришь: «Я все утро сидела на телефоне – звонила во все больницы и скорые помощи, ведь пол-автобуса было с нашей базы – розыск поручили мне».

Я молчу, я не могу понять, почему ты не сказала своему командиру: «Я любила Йони, я не могу делать вид, что жизнь продолжается, – копаться в бумажках или смотреть в компьютер, мне тяжело и больно, дай мне увольнительную, хотя бы на пару дней, дай прийти в себя»? Хотя... я знаю ответ: кто угодно, только не ты. Ты никогда не снизойдешь до того, чтобы рассказывать командиру, или кому-либо – о своих чувствах, ни при каких обстоятельствах, и эта работа – и компьютер, и бумажки – нужна сейчас прежде всего тебе самой. Я восхищаюсь твоей стойкостью, тем, что ты говоришь таким спокойным тоном, – восхищаюсь и одновременно в ужасе перед тобой – такой сильной, слишком сильной, я никогда бы так не смогла, и я знаю, чего тебе это стоит... нет, не знаю, догадываюсь.

Папин мир слишком аккуратный, упорядоченный, несмотря на тот бардак, который вношу я, разбрасывая всюду свои майки и лифчики, это мир молллока, а мне надо туда – в хаос, духоту, в пыльный хамсин. Солнце уже не такое яркое, оно грузно оседает за высокими домами, свет больше не ослепляет, он потемнел, помягчел, стал такой же, как песок – тепло-терракотовый. Я иду по парку, где мужики в шортах выгуливают породистых собак, а молодящиеся бабушки – кудрявых детей, иду мимо моей любимой скульптуры – синей полувлетающей девочки с открытым зонтиком, мимо скамейки, под которой гора шелухи от семечек, мимо холма, на котором иногда лежу и рассматриваю облака, иду и вспоминаю все, что знаю о Йони, и понимаю, что знаю очень мало, почти ничего, и теперь не узнаю, и самое страшное – что не узнаешь ты, Рахель. Знаю только, что он служил вместе с тобой, но на год старше – ему исполнилось двадцать, что у него была своя музыкальная группа с неприличным названием «Lucy's Pussy», что ты была влюблена в него, и что он был необычный человек, и это – бесспорно, иначе ты не влюбилась бы, ты ведь ни в кого раньше не

влюблялась, и вот наконец Йони, а тут... не просто несправедливость, а совпадение – совпадение любви и смерти, с очень коротким промежутком, в который нереально успеть, – особенно с твоим характером, Рахель. Из всех совпадений – именно это, и еще одно: ты опоздала. Ты должна была быть в том автобусе: вполне вероятно, ты сидела бы рядом с Йони... Но ты задержалась у зеркала, или забыла что-то и вернулась, или просто проспала – наверно, даже огорчилась, когда пришла на остановку и тебе сказали: «Пятьсот шестнадцатый? Он только что уехал...», – а может, бежала за его красным задом, матерясь по-арабски... Я не заметила, как побрела обратно к дому, а на автобусной остановке сидят два мужика и курят кальян, и густой пар от кальяна сливается с горьковатым, дымным от песка воздухом, так что кажется, будто этот пар соединяет небо с землей, будто эти мужики на одинаковом расстоянии от земли и от неба. Наверно, у меня совсем ошалевший взгляд, потому что один из них предлагает присоединиться, выдохнув пар из ноздрей, как волосатый дракон. Отказываюсь, и тут же проходящая мимо старуха в обтягивающем спортивном костюме орет: «Разве можно отказывать мужчинам? Кто тебя воспитывал?» Это местная городская сумасшедшая – тощая, с вечным ядовитым макияжем в стиле 80-х на сморщенном лице. Я часто вижу ее: она закатывает истерики в автобусах, если рядом с ней садятся, считает, что эфиопы питаются кошками и что террористы взрывают нас от большой любви, идя к высокой цели, потому что только так наступит мир. Иду дальше, группа подростков окружает меня. У них важный спор, и я должна помочь. «Ты потрогай мой Маген Давид, – говорит один из них, пытаюсь поймать мою руку, – правда, это серебро? Скажи им, а то они не верят». Да, это именно то, что я искала, – пеструю израильскую суету, спасительное земное безумие, телесное, почти болезненное в своей остроте и напористости, доказательство существования мира вне моих мыслей. Я незаметно проскальзываю домой, спрятавшись от сумерек, звоню тебе, но ты не отвечаешь. Вешаю трубку – и сразу звонок. Рахель! Перезванивает! Мужской голос: «Можно заказать такси?» «Ошиблись номером», – говорю привычно, и вдруг чувствую себя очень уставшей.

На следующее утро вижу фотографию Йони в газете – она в черной рамке, и рядом еще четыре фотографии – тоже в черных рамках. Наконец узнаю, как выглядит Йони, как *выглядел* Йони – от этого нюанса, от вынужденного прошедшего времени, от этого маленького изменения в слове, которое отсылает существование целого человека в небытие, все внутри холодеет. Я знаю: разговоров о нем больше не будет, спрашивать – это делать тебе больно, упоминать – делать больно, а я не хочу делать больно, и в нашей дружбе появится молчание, мы будем делать вид, что целой главы нашей переписки не было, и телефонных разговоров со скупыми признаниями и шутками и этой фразой, которую мне не забыть – «кажется, я влюбилась» – не было, и рядом с нами, между нами будет жить и с годами расти молчание по имени «Йони». Я смотрю на фотографию Йони в газете (он, конечно, не такой, каким я его представляла, но *таким* он и не мог быть, потому что я представляла кого-то, в кого влюбилась бы я, а это человек, в которого влюбилась ты, Рахель). И когда я смотрю на фотографию Йони, меня пронзает именно эта мысль: не успели, не успели, и даже больше – не сказали! И самой себе не могу объяснить эту странную заикленность – неужели, если бы вы успели объясниться, или поцеловаться, если бы Йони стал твоим первым мужчиной, тебе было бы сейчас легче? Нет, конечно – ровно наоборот, по всей логике вещей –

наоборот, и все же, и все же, мне не дает покоя именно эта недосказанность – неосуществленный разговор, неоконченный диалог, непреодолимое отсутствие катарсиса. Не могу с этим смириться и пытаюсь представить себе, как это – проглотить слова, которые так долго были на кончике языка и грозились сорваться, а потом вдруг стало поздно, адресат выбыл, и эти слова – не востребованные, ненужные – осели на дно души, но окончательно от них не избавиться – их некому вернуть и невозможно уничтожить... И решаю, про себя решаю, что я бы не пережила этого – решаю, и помню про свое решение – боюсь, и знаю, насколько обманчива видимость пружинистой жизни в человеке: всегда говорю первая – раньше, чем надо, раньше, чем можно, даже тогда, когда совсем нельзя, главное – поскорее избавиться, перестать владеть этими словами, и мама говорит, что во мне нет загадки, я – прямая, как военный танк, а я отвечаю: я просто израильтянка – я знаю кое-что про смерть, то есть про жизнь.

Еще одна твоя фраза: «У меня нет ненависти. Я бы хотела – ненависть помогает, если бы я могла ненавидеть, мне было бы легче. Мне страшно жалко этого несчастного идиота с промытыми мозгами, который взорвал автобус. Не знаю, что ему обещали – девственниц в раю или просто большие бабки его семье, но мне его жалко». И я потрясена твоим великодушием, твоим невероятным великодушием, которое мне и пример, и урок, и укор, и одновременно я злюсь на тебя: ты опять отказываешься от помощи, от очередной возможности, сама говоришь, что было бы легче, и отказываешься, ты упорно не хочешь ни плакать, ни ненавидеть, ты явно не ищешь легких путей... И еще я думаю о том, что утром обсуждали по радио: про двух арабских девушек в белых хиджабах. Они тоже ехали в автобусе и были предупреждены. Террорист подошел к ним и тихо по-арабски приказал выйти – сойти на ближайшей остановке. Взрыв прозвучал минут через двадцать после этого. Они могли позвонить в полицию, предупредить, можно было бы что-то сделать – водителю позвонили бы, он мог бы успеть эвакуировать автобус, или толпа солдат (пол-автобуса!) обезвредила бы того парня. Но они не сделали этого – они ничего не сделали, просто сошли на остановке и, наверное, сели на следующий автобус – почему? Они не могли не понимать, что должно произойти, – так почему? Мусульманский фатализм или полное безразличие, или... Или ненависть? Неужели и эти две девушки, студентки израильского университета – неужели настолько? Я еще не знаю, что об этих девушках буду думать очень часто, но не в контексте политики (я не знаю, что такое политика, – это пустое слово, это то – о чем пишут и ругаются в фейсбуке и в живом журнале, и мне никак не удастся проникнуть в суть всех этих фраз, а особенно определений). Нет, я думаю не о лояльности, даже не о порядочности, я думаю о страхе – о том страхе, который прячу, с которым борюсь, которого стесняюсь, но он вылезает как горб, и всегда стараюсь отвести взгляд или улыбнуться, чтобы ничем себя не выдать, – ведь такой страх, помимо всего прочего, оскорбителен – и для меня, и для того, на кого он направлен, и краснею, и мне очень стыдно, но каждый раз, когда говорю с арабом, вступает в свои права страх. И мелькает – иногда очень быстро, но мелькает, – эта мысль: а что если он ненавидит меня, если в глубине души этот человек ненавидит меня и видит меня мертвой, улыбается мне и ненавидит меня – конечно, скорее всего это не так, но что если так, и что мне с этим сделать, как быть, как выдержать? ... Через одиннадцать лет после этого разговора я окажусь в арабской

деревне Дабурия под горой Тавор – одна, за рулем и беременная. Будет солнечный, теплый январский день. Я спущусь с горы, пахнувшей туей, розмарином и лимоном, по извилистой дороге, притормаживая на резких поворотах, к желтому минарету, чтобы встретить потного и счастливого мужа, взлетевшего с горы Тавор на своем сине-белом, как флаг Израиля, паратране, парившего, как огромная птица, с удивленными пеликанами и приземлившегося у шоссе. «Я у желтого минарета, – скажет муж, – приду минут через двадцать, жди». Но я, разогретая солнцем, как ящерица, изможденная сильными толчками в дынном животе, нетерпеливая, заведу мотор и быстро парирую: «Зачем? Лучше я тебя заберу, желтый минарет – не иголка – найду, уже отсюда вижу». Но, объехав трижды желтый минарет, пойму, что мужа тут нет и не было, а он будет убеждать меня в том, что стоит именно у желтого минарета, и я буду ездить кругами, задерживая движение, пока не догадаюсь, что в деревне Дабурия не один желтый минарет. И не будет выхода, как обратиться за помощью, но быстро пойму, что школьники, толпой хлынувшие на улицы, плохо говорят на иврите, а к мужчинам будет страшно обратиться... Наконец, женщина за рулем «ауди», в черном блестящем хиджабе, приветливо улыбнется мне, откроет окно, скажет «шалом», и я, бледнея и запинаясь, задам свой вопрос и узнаю, что в деревне Дабурия даже не два желтых минарета, а четыре. Она подскажет мне, как ехать к самому главному – наверняка муж там, – а я собьюсь с пути, заеду в самую глубь деревни, петляя на узеньких улочках в середине горы, еле вписываясь между низенькими, острыми домами, проезжая вплотную к веревкам с развешенным бельем, окруженная любопытными школьниками, заглядывающими в окно машины, и пожилыми неторопливыми мужчинами, пьющими крепкий кофе на каменных ступеньках, которые будут пожимать плечами на мой вопрос «Какая это улица?» Я буду каждые две минуты звонить мужу и – чуть не плача, нервно – говорить: «Ну узнай, какой адрес, спроси название улицы, и я поставлю джипиэс, почему ты не можешь узнать название улицы?!» А потом дойдет, что это – бесполезно, что на джипиэс никакой надежды нет, потому что Дабурия – маленькая деревня и здесь просто нет названий улиц, и что зря не послушалась мужа и не осталась в сверкающей на солнце серебристой «хюндай» на горе Тавор, среди своих любимых розовых анемонов, и что сейчас меня растрясет на этой крупной брусчатке и начнутся преждевременные роды... Но я, конечно, буду говорить себе «успокойся, нельзя нервничать», ловя взгляды местных жителей, понимая, что практически заехала к ним в гостиную, что я – в самой гуще деревни, в самом сердце плотной и незнакомой мне жизни. Конечно, они смотрят на меня, им интересно, кто это бесцеремонно вторгается к ним, что тут потеряла эта молодая беременная женщина, но смотрят не враждебно, просто с любопытством... Буду уговаривать себя, что это – наши арабы, израильские, и тут же передернет: что значит «наши» – это неправильное слово, они ведь не домашние животные, они не могут быть «наши» или «не наши», они – сами по себе – ничьи, как и все люди. Тут я быстро вспомню тех двух девушек в пятисот шестнадцатом автобусе и сразу заставлю себя их забыть. Зазвучит муэдзин из очень громких, надтреснутых динамиков, созывая жителей деревни на послеполуденную молитву, а я как раз заеду в тупик – в закуток жилого дома, откуда одна дорога – резко вниз по откосу, куда ехать страшно, особенно мне – с дрожащими руками, с живым, дышащим пузом, а развернуться, не покалечив автомобиль, тоже не смогу, поэтому просто замру, загоразивая дорогу едущей за мной

машине, и зарыдаю в голос. В мобильный телефон, прижатый к уху, будет доноситься глубокий баритон мужа, говорящий какие-то утешительные и вразумительные слова, которые будут казаться в тот момент полной бессмыслицей, и муэдзин – муэдзин будет звучать дважды: совсем рядом – за домами и в трубке, и пойму, что муж – там, у того минарета, где поет муэдзин, и мне тоже надо туда, это совсем рядом, судя по близости звука, но вниз по откосу - страшно... Машина сзади загудит, и слепыми глазами посмотрит на меня старуха в белом платке и черном платье. Мужчина лет пятидесяти, с седыми волосами, забранными в хвостик обратится ко мне на иврите, что-то спросит; постепенно до меня дойдет, что он все понял и предлагает самому сесть за руль и съехать вниз с той страшной горки. Яростно замотаю головой, сквозь слезы, поглажу живот, и подумаю, что если они захотят, то смогут сделать со мной все что угодно, абсолютно всё – я сама к ним приехала, вторглась, напросилась, блокирую движение, что я вдвойне беспомощна из-за неуклюжего, живущего своей жизнью живота, и как это нелепо – полнота жизни во мне и ужас моего положения... Водитель в машине позади меня сообразит, что имеет дело с непроходимой дурой, и даст задний ход, а седой длинноволосый мужчина движением фокусника вдруг достанет из-за спины большой мешок и начнет разбрасывать кругом ошметки рыбы и мяса, и на это угощение слетятся кошки, тьма кошек – наверно не меньше сорока: черные, тигристо-рыжие, пятнисто-серые, по-египетски длиннолапые, с вытянутыми мордами и большими ушами – обыкновенные израильские уличные кошки... но это будет настолько неожиданно, настолько вразрез моим ожиданиям, что я сразу приду в себя, соберусь и медленно, осторожно, не спуская ноги с тормоза, съеду со страшной, почти отвесной горки и приеду к очередному желтому минарету, у которого опять не найду мужа. Но это уже неважно, потому что за время моих рыданий в закоулке, муж договорится с местным арабом, и тот позвонит мне, по моим мало внятным описаниям поймет, где я нахожусь, приедет за мной на мотоцикле и выведет к бензаколонке, на которой ждет взволнованный муж, так что четвертый минарет деревни Дабурия я так и не увижу. Я покорно поеду за мотоциклистом и вдруг пойму, что за этот мучительный час все жители деревни пытались мне помочь: станет ужасно стыдно за свой страх, но в то же время я буду четко осознавать, что ему некуда деться, что он так и будет жить во мне, вылезая при каждом удобном случае, выпирая из-под одежды, как лишняя часть тела – сильнее и выпуклее, чем мой живот. И еще я пойму, что если бы не этот страх, я бы получила удовольствие, я бы насладилась этой безумной картиной: в конце вертлявой улочки, ведущей в никуда и вниз – почти в обрыв, под надтреснутые крики муэдзина, на фоне начинающего заходить солнца, слепая старуха, похожая на древнюю статую богини правосудия, неподвижно сидит на белом пластмассовом стуле среди бельевых веревок, седеющий мужчина с артистическим хвостиком кормит пеструю стаю кошек, и рыдает за рулем серебристой «хюндай» беременная тетка...

Ту нашу единственную встречу летом 2002 года я не забуду никогда. Я уже не надеялась, Рахель, не смела, думала, что ты ускользнешь в своей непринужденной манере, закрытая для меня в решительном, гордом отказе от горя, и лето 2002 останется навсегда незавершенным, оставившим за собою ничем не заполнимую пустоту. Я мысленно представляла, как ты отдаляешься – неуловимая и прекрасная, – растворяешься в гуле шумной израильской толпы, в грубоватом и густом кофе «боц» (получившем такое прозвище из-за схожести с мокрой, вязкой землей), который

пьют солдаты, и во всяких других армейских словечках, указывающих на твою принадлежность недоступному мне и взрослому миру. Но случилось чудо: ты сообщила, что сможешь заскочить в район Тель-Авива в четверг вечером – на пару часов. А я, вспомнив про пустующую квартиру мамы в Гиват-Шмуэле, сразу предложила тебе остаться на ночь и поехать домой в Наарию в пятницу утром. Целую неделю я готовилась к встрече, продумывая, что сказать тебе, проигрывая в голове бесконечные варианты диалога... Много было мне ясно из тех обрывков твоей жизни, о которых ты вскользь сообщала по телефону: о том, как на похоронах Йони ты упала в обморок (рассказывая мне об этом, ты быстро добавила: «Все из-за жары, я очень мало пила в то утро»), о том, что ты наотрез отказалась от услуг армейского психолога и даже твои родители не смогли тебя уговорить... Ты изо всех сил мужественно держалась, как последний воин в осажденном городе, а я стремилась прорвать осаду, докопаться до тебя, я хотела, чтобы ты перестала – хоть на час! – быть сверхчеловеком. Меня пугало это упрямство, и еще больше то, что стояло за ним, меня пугало то, что будет потом, если глухо запертое на все замки, застоявшееся горе вдруг отомстит тебе в самый неожиданный момент – предательски поперет на тебя, хлынет из всех щелей, неостановимое и нескончаемое, как каша из сказки: «Горшочек, вари!» Я уже понимала – догадывалась, – что горе нельзя копить и тем самым множить, что от него надо избавляться сразу – хотя бы заплакать, Рахель, хотя бы один раз позволить себе заплакать!

Но когда ты шагнула навстречу из дверей автобуса – в оливковой форме, со взерошенным ежиком черных волос, с неизменной мальчишеской стрижкой, и без автомата, который я так жаждала увидеть (последняя полудетская иллюзия отпала), – я поняла: всё то, что я собиралась делать, делать ни в коем случае не надо. И весь вечер, и все утро убеждалась, что права: когда ели пиццу в пиццерии Ави за углом – почти молча, когда допоздна разговаривали на кухне, когда ворочались на широкой кровати в спальне мамы и отчима, в летней, непроницаемой темноте, и обе не спали, когда утром пили кофе с булочкой в большом торговом центре «Азриэли» (по-нашему «каньоне»), откуда уходил поезд, когда курили на перроне, я – вторую сигарету в своей жизни, и не потому, что хотелось, а из солидарности, и я любовалась твоими длинными ресницами (вспоминая, как ты жаловалась, что они мешают тебе смотреть в микроскоп на уроках биологии) и тем, как ты играешь с сигаретой своими неправдоподобно длинными пальцами, и в тот единственный короткий момент откровения, когда – сидя на диване, покрытом блеклым голубым покрывалом – мнимой защитой от когтей нашей кошки, – в пыльной, запущенной за безлюдное лето квартире, ты сказала, глядя мне в глаза: «Это больно, знаешь, это очень больно». Я сразу поняла, что это – совсем не то, что я хотела услышать, настолько отстраненно, почти с иронией это прозвучало, с интонацией мудрого, взрослого человека, который смирился с тем, что горе в жизни неизбежно, что оно везде, кругом, и поэтому нет надобности пускать его в себя или как-то разбираться с ним, оно так же естественно, как то, что растут ногти и заканчивается туалетная бумага... Что-то такое было в тебе в тот вечер, что я сдалась – сразу. Поняла: нельзя туда лезть. Надо уважать твой выбор, каким бы опасным он ни казался, не только не мешать, но подыгрывать тебе, Рахель, не нарушать твой хрупкий баланс, и если ты – одинокий, стойкий воин в осажденном городе, молча подавать тебе патроны. Я забыла про все свои заготовки, про все придуманные, прокрученные в

голове диалоги, и не сказала ни слова на эту тему, и следила за тем, чтобы даже паузы были не на эту тему, а уж тем более – длительное молчание. Весь вечер и полночи, лежа на животе на кровати и болтая ногами в воздухе, мы говорили о чем угодно и обо всем на свете, и я сама не заметила, как с необыкновенной легкостью и непринужденностью рассказывала тебе о своей любовной истории, самой последней, непонятной (как мне казалось, загадочной!) Я сама удивлялась, как, не стесняясь, рассказываю эту чушь (стандартный набор: не позвонил, не написал – то есть пропал, всевозможные предполагаемые причины такого поведения и подробный разбор доказательств того, что он ко мне все же равнодушен: «Принц взглянул в мою сторону три раза, улыбнулся – один, вздохнул – один, итого – пять»), как ты выслушиваешь это все, уточняешь, анализируешь, советуешь, и как ты ухитрилась сделать так, что все это выглядит совершенно естественно, и я не только не сгораю от стыда, но даже не краснею...

И вот тут появляется молоко... Весь вечер, несмотря на мою бессовестную болтовню, мне беспокойно, потому что понимаю, что играю по твоим правилам и этим выполняю твою молчаливую просьбу, но – по большому счету – никак не помогаю тебе, не сделала для тебя ровно ничего, да и не могу сделать, и что эти идиотские подробности моей расплывчатой любовной истории отвлекают тебя, может, даже развлекают, но это ведь не то, мягко говоря, и ощущение бессилия, полной беспомощности приводит меня в ярость - никак не могу с этим смириться. Весь вечер, и половину ночи ищу, все время ищу выход, и вот утром он находится сам, точнее, даже не выход, а ход – находка, отгадка того единственного направления, в котором могу пойти, не нарушив твое равновесие, не разрушив твоей обороны. Проснувшись, не заходя в туалет и не почистив зубы, голодными, торопливыми шагами врываюсь на кухню и распахиваю дверцу огромного, дребезжащего, как старик, холодильника. В отсутствие мамы он сильно захирел и осиротел – гулко, оледенело и остервенело пуст, в нем ничего нет, кроме нераспечатанного сине-белого картонного пакета компании «Тнува» – моего хорошего старого знакомого – «молллока». Срок годности еще не вышел. И мне приятно, что единственное содержимое холодильника – именно молллоко, мысль о привычном кофе с молллоком вселяет чувство уюта, обычности и повседневности происходящего. Я нахожу в маминой спальне маникюрные ножницы и аккуратно срезаю белый картонный уголок. Вот только кофе на кухне нет. А молоко без кофе ни одна из нас не пьет. Но я уже вытащила тугой, до краев заполненный пакет, удерживаю на раскрытой ладони, ощущая его вес, его тяжесть, его значимость, и ставить обратно не хочу. Мне все кажется, что надо найти применение, что именно этот пакет с молоком может спасти ситуацию. И вдруг осеняет. «Рахель, – говорю, – у меня есть идея». Ты сидишь, забрав ноги на стул, обхватив колени, и смотришь перед собой, а на самом деле – внутрь, куда-то далеко внутрь себя... Но я уже придумала, я знаю, что может растормошить тебя, завести... «Рахель, – говорю, – мне очень жалко это несчастное молоко. Оно столько простояло тут, в холодильнике, а пока кто-нибудь в следующий раз сюда приедет, оно уже испортится, останется только выбросить его на помойку, и получится, что оно жило зря – а оно ведь и так страдало: провело несколько недель в холодильнике, совсем одно». (На самом деле я говорю не «оно», а «он», молоко на иврите – *халав*, мужского рода.) «Нельзя допустить такую несправедливость, Рахель, ведь ради этого литра молока мучали бедную корову: бородатый киббуцник

Хаим впивался ей в вымя грязными ногтями... Это молоко было частью живого, поэтому оно и сейчас – даже после пастеризации и упаковки – оно и сейчас немного живое, и заслуживает другой участи, оно должно оправдать свое существование. Давай, Рахель, давай я возьму его с собой в Питер – пусть у него будет яркая, хоть и короткая жизнь, пусть это молоко, этот *халав*, станет гражданином мира, путешественником, странствующим артистом, пусть он удостоится необычной, особой судьбы – ты ведь никого не знаешь, кто летал бы из страны в страну в обнимку с пакетом молока из супермаркета...» Ты, как всегда, понимаешь меня с полуслова и все это время увлеченно слушаешь, чертики бегают в твоих глазах, и в этот момент ты возвращаешься, ты – Рахель, которую я знала, Рахель-до-гибели-Йони, и ты не выдерживаешь, перебиваешь, включаясь в игру. «Тогда, – говоришь ты, – надо сделать ему биографию, чтобы было понятно, что это не простой *халав*, а Халав с большой буквы – личность...» «Паспорт! – подхватываю. – Это все будет в его паспорте, ведь без паспорта не пускают в самолет». И мы – разыскав большой черный фломастер – грубыми, толстыми штрихами рисуем сзади на пакете большой прямоугольник и внутри записываем все данные нашего подопечного. Мы сразу пишем, что гражданство у него израильское, а про национальность колеблемся – может ли он быть евреем, вдруг именно эта корова принадлежала арабу или родилась в арабском селе, и в итоге пишем «национальность: молочная». Дата изготовления – дата рождения, а дата истечения срока годности – это дата, когда нужно поменять паспорт и одновременно наградить наше Молочко (*Халавуш* – так звучит это уменьшительно-ласкательное на иврите) статусом почетного долгожителя. Мы долго спорим, кто его мать: корова или фирма «Тнува», и решаем, что все-таки корова, а «Тнува» – роддом, и женат он на своей красавице упаковке, с которой не расстанется, но у него внебрачные дети – девочка и мальчик: сметана и йогурт, а папа, конечно же, тот самый киббуцник Хаим – придуманная нами бородастая доярка. Мы сочиняем весело, увлеченно, задорно, перебивая и одновременно читая мысли друг друга, мы дурачимся и смеемся, но это все всерьез, очень всерьез. Вдруг ты обращаешь внимание на отрезанный уголок Халавуша: «Но зачем ты открыла? Как ты теперь его увезешь?.. Больше недели до отлета – оно прокиснет, будет вонять...» «Это – мои проблемы. Я тебе обещала, и я это сделаю. Чего бы это мне ни стоило, даже если у меня попытаются отобрать его на контроле – в крайнем случае, самолет улетит без меня, но я не сдамся. Представляешь, наш Халав будет узником Сиона, только наоборот – буквально... Рахель! Посмотри на меня!» – я знаю, что голос звучит торжественно и глупо, но мне плевать: нужно, чтобы ты поняла меня, и – еще важнее – чтобы ты поверила. «Послушай! В тот день, когда я буду улетать, я хочу, чтобы ты думала обо мне, и хочу, чтобы ты знала, что я лечу вместе с Молочком, чтобы у тебя не было никаких сомнений, чтобы ты представляла себе выражение лиц людей на контроле, моих соседей по самолету, моей мамы, которая будет меня встречать... и да – можешь представить себе и запах – тот запах, который будет исходить от Молочка через девять дней... И еще – мое лицо: представляй весь день мое непобедимое, непоколебимое лицо, мое хладнокровное, непроницаемое лицо – лицо защитницы Молочка: победоносное и ликующее, наглое, самодовольное, идиотское и счастливое!» И ты смотришь мне в глаза и очень тихо, но властно – с напором, с надеждой, со скрытой мольбой – говоришь: «Обещай мне. Обещаешь?» И я говорю: «Обещаю».

Про Израиль говорят «земля, текущая молоком и медом», и теперь я понимаю, почему на иврите *Израэль* – это всегда *она*, женщина. Когда рожает ребенок – истекаешь молоком. И медом. Точнее, молоко становится сладким, как мед, густым, как мед, и голубоватым, как синие прожилки на набухшей груди. Конечно, сладкое, медовое – ведь все последние месяцы беременности я поглощала бесчисленные шоколадки, пирожные, булочки с корицей, какао, варенье, по два раза в день пила чай со сливками – с бессовестным наслаждением ублажала поселившегося во мне Вини-Пука, а на самом деле – трудилась как пчела: взращивала внутри себя самое вкусное, самое сладкое молоко – тягучее, теплое, сонное, и вот теперь у меня две тяжелые, как вылитые из меди, груди – постоянная молочная фабрика, и молоко не просто льется, оно бьет ключом – упругой струей, фонтанной дугой, заливая все вокруг. Я живу в полусне – в рассеянном, почти потустороннем молочном мире: из меня сочится молоко, я буквально истекаю молоком. Оно везде – на ночных рубашках, лифчиках для кормления, на простынях, на пододеяльниках. Оно просачивается всюду, затапливает верхние этажи памяти, и я забываю нужные вещи, теряю элементарные навыки, и хочу только есть и спать, и видеть сны, и любить – это все мне нужно для производства, для главной молочной работы. Я пахну душистым, как мед, молоком, и моим молоком пахнет ребенок, насосавшийся, причмокивающий во сне, а на носу у него капельки пота – он прижимается ко мне, по-хозяйски обхватив ручкой грудь, а грудь жаркая, горячая, как перегретая плита. Она работает без перерыва, производит все новое и новое молоко для своего выкорышка, для смешного сосунка, и чтобы она не забывала, чтобы ни на миг не прекращала работу, он слепо тычется в грудь и долбит ее, стучит в нее, как маленький дятел, который не умеет пока ничего – только есть и спать, но этого ему вполне достаточно для того, чтобы его любили. И я люблю, истекаю молоком, много ем, и много сплю – вместе со своим Дятленком, который не оставляет грудь даже во сне, не разжимает челюсти, как бульдожка, и недовольно морщится, если теряет сосок. Я уже не знаю – это он продолжение моей груди, или я вся – продолжение его маленького, нежного тельца, но мы – одно целое, погруженное в один молочный сон. Наяву я тоже почти сплю: на что-то не реагирую, а многого не слышу, ко мне трудно пробраться сквозь молочную пелену, которая заглушает, смягчает все звуки и мысли, сквозь убаюкивающий, мерный ритм сосания и глотания. Только муж поддерживает связь между мной и реальностью, а иногда и он становится частью дымчатого, мягкого молочного мира, прижимаясь к моей спине, когда кормлю, когда вижу молочные сны. Это мое молоко – оно ничем не похоже на освежающее, невесомое молллоко юности, на молллоко лета 2002 года, но почему-то не раз вспоминаю о нем во время кормления – и о молллоке, и о том лете, и о Молочке-путешественнике: не знаю почему, но все пытаюсь понять – зачем я это сделала, зачем совершила тогда эту дикую выходку с Молочком. Теряюсь, путаюсь в мыслях, и понимаю только одно: у меня есть время, сейчас я все могу – и любить, и защитить, и оградить от беды. Именно для этого мое молоко, и оттуда эта потребность – чтобы Дятленок брал грудь, чтобы его губы смыкались волшебным кольцом вокруг соска, освобождая от этой тяжести, которая и есть любовь, чтобы молоко текло, текло – так же постоянно и беспощадно, как время, что мне нужно это, необходимо. И в тот раз, когда в середине апреля я выбежала на еще прохладный, сырой шведский воздух в одной ночнушке – выскочила за дверь,

чтобы поскорее достать из коляски, поскорее покормить – и простудила грудь, и начался мастит, – именно поэтому грудь стала невыносимо тяжелой и болезненно твердой – это забродила, загустела и застыла комками любовь, которой не дали пролиться молоком. Это от закупорки любви у меня поднялась и держится температура, и пока сын спит, я мучительно сцеживаюсь и прижимаю к груди горячую грелку, а грудь ждет единственного прикосновения, и ничьих губ так никогда не ждала: еще давно, в период первых свиданий, когда мы с мужем летали друг к другу через континенты, я призналась, что грудь у меня совсем не эрогенная зона – «Я просто ничего не чувствую – она для меня все равно что ноготь...» – и с тех пор он стал звать мои груди «ноготочками»... Но теперь моя любовь живет и там тоже, и напряженно работает, и когда под медным хохолком вздрагивают рыжие брови, чуть приподнимаются рыжие ресницы, а губы уже делают «сисечные движения», я облегченно притягиваю к себе полусонного ребенка и наслаждаюсь тем, как он опустошает меня, дарит чувство легкости, в который раз принимая мое молоко, временно освобождая меня от бремени любви, от ее жара и бреда. И думаю – ну хорошо, год, полтора, два, – но когда-нибудь я перестану кормить, оно закончится, мое молоко, а что я еще умею, кроме этого: как противостоять голодному, жадному миру – с каким оружием в руках, и вспоминаю историю с молоком, которая демонстрирует – ни на что кроме глупостей я не способна, и мне становится страшно. В ночной темноте прижимаю к себе двух-шести-десятимесячного ребенка, а он все так же доверчиво, не открывая глаз, ищет грудь, воркует, находит и впивается в нее, поглаживая рукой (сейчас иногда и ногу на меня кладет, или просто пинает в живот, а иногда смеется во сне, не выпуская изо рта сосок), а я нюхаю его, и – хотя днем он уже ест взрослую пищу, – он все еще пахнет мной, моим молоком. Утешаюсь, успокаиваюсь, начинаю ровно дышать, чтобы поскорей уснуть, но мне все равно страшно, чем больше любви – тем страшнее, и надо понять, что это было летом 2002 года, что за история с Молочком: зачем я это сделала, и что дало мне тогда ощущение силы – абсурдное, нелепое ощущение силы (а я это хорошо помню!), поэтому я пишу... Эта история жила где-то под небом, за языком, который я прикусила, запрещая ей вырваться наружу, но сейчас мне хочется выдохнуть, я должна, я не могу иначе.

С того дня, когда я обещала тебе провезти Молочко через границу – взять в небо Израиля, а потом показать ему питерское небо – по северному светлое, блеклое (даже вечером), с того дня прошло двенадцать лет, если быть точнее – одиннадцать с половиной. С того времени мы говорили о Йони два раза. Один раз – год спустя, когда ты мимоходом сообщила, что мама Йони – в пятьдесят один год! – ждет ребенка (теперь я понимаю: это просто был самый верный путь к спасительному забвению, потому что, когда течет молоко – забываешь), и второй раз – три года назад, когда я сказала, что хочу написать про эту историю, а ты пришла в ярость и запретила мне, хотя имя «Йони» даже не было произнесено, согласно молчаливому договору между нами, я просто сказала, что хочу написать про «историю с Молоком», и ты сразу все поняла, и рассердилась на меня, и запретила. Значит это не моя бредовая фантазия, ты тоже прекрасно знала, что наш Халав-путешественник имеет прямое отношение к Йони и к взрыву в автобусе. А я, конечно, тоже знала, но не смогла бы объяснить,

сформулировать, какая тут связь. А теперь могу. Это заняло у меня одиннадцать с половиной лет и тринадцать вордовских страниц...

Я не знаю, представляешь ли ты, Рахель, как непросто было выполнить обещание. В письме-отчете я только написала тебе, что Молочко долетело до Питера – без подробностей. Я опустила то, что Молочко, стоявшее на одной из папиных книжных полок (я не захотела поставить его в холодильник, опасаясь, что папа – по рассеянности – просто выпьет его с кофе) скисло и запахло намного раньше, чем я предполагала, и то, что опрыскивание Молочка духами «Hugo Boss» не улучшило ситуацию, а наоборот, и что все девять дней до отлета папа шутливо, но ежедневно грозился выбросить Молочко на помойку в мое отсутствие, а я огрызалась «только попробуй!» и даже пару раз перепрятывала его в менее доступные места, но беднягу выдавал запах. Я не написала о том, что в последние дни перед отъездом, когда положение было уже катастрофическим, я не отлучалась из дома, не рискуя испытывать папино терпение, и что я повезла открытое, вонючее молоко с собой в ручной клади – в своей изящной небесно-голубой сумочке, которую потом пришлось выбросить, потому что ее было не отмыть от этого запаха. Молоко выпирало из нее своим сине-белым картонным выменем – оно не влезало в сумочку полностью, поэтому молния была не до конца застегнута, и я все время волновалась, что выпадет паспорт, но послать Молочко багажом было исключено – во-первых, зловонная полужидкость могла пролиться, во-вторых, часть уговора-обещания состояла именно в игре до конца – в полной провокационной бредовости затеи. Я опустила и то, что в день полета запах Молочка достиг апогея и люди в аэропорту шарахались от меня, как от бомжа, что чудом меня пропустили с жидкостью на борт самолета (хотя, наверное, к этому времени Молочко уже створожилось и жидкостью больше не являлось), что встречающая меня бедная мама, которую всегда пугали проявления моей «ненормальности», сначала отказывалась посадить меня с Молочком в машину (я настояла), а потом всю дорогу спрашивала: «Ну зачем ты это сделала, скажи, зачем ты это сделала?» – и мои ответы («Он заслуживал другой жизни», «Ему было одиноко в холодильнике», «Я обещала Рахель») ее явно не удовлетворяли. Но, сказать тебе честно, мне все это было до лампочки, в тот вечер мне все было до лампочки, я въезжала в бледно-сумеречный Питер победителем (хоть и на заднем сиденье), улыбаясь, и улыбаясь стояла потом перед подъездом дома – одна, у большого мусорного бака, прощаясь навсегда с Молочком: мама сказала, что «домой *это* не войдет», и я не возражала. Молочко пролетело со мной тысячи километров, оно въехало в августовский Питер и увидело из машины Спас-на-крови – у него была исключительная, выдающаяся жизнь, и теперь ее было не жалко прервать (ведь не собиралась же я объединиться с Молочком навеки!), а главное – цель была достигнута, очень простая, очень внятная цель: теперь я могла написать тебе, Рахель, написать без лжи и без преувеличения, что наш Халав долетел до Питера, что он повидал мир и умер смертью храбрых на чужбине, и я знала, что ты прочтешь эту фразу и поймешь то, что я хочу тебе сказать (ведь «история с Молоком» – это просто наш с тобой диалог, Рахель, наш разговор в той области, которая за пределами слов): конечно, мы живем в ужасном мире, где взрываются автобусы и гибнут мальчишки, которым не успели сказать главное, и любовь совпадает иногда со смертью, и мы с тобой проживем жизнь и состаримся, у нас будет много забот, и горе тоже будет – оно ни про кого не забывает, в

щедрости ему не откажешь. Но у нас всегда будет «история с Молоком» – она наша, Рахель.